



Вс. С. СОЛОВЬЕВ

**Новые рассказы г. Щедрина,
под общим заглавием: «Благонамеренные речи»**

<Фрагменты>

Нам давно не приходилось говорить о новейших произведениях г. Щедрина, между тем редкая книга «Отечественных записок» появляется без продолжения его *Благонамеренных речей*. В течение последнего года наш сатирик вышел на несколько новую дорогу: *Благонамеренные речи* теряют тот своеобразный и привычный облик, в который до сих пор выливались его произведения. Это уже не сатира, а просто ряд рассказов из истории семейства Головлевых. Правда, рассказы носят на себе, по временам, сатирический оттенок, но чисто художественно-повествовательная форма и все приемы сильно его затушевывают. Мы ровно ничего не имеем против такого отдохновения г. Щедрина от сатиры, так как сатира его в последние годы потеряла свою соль и свежесть, и ради одной удачной страницы часто приходится прочесть много страниц совершенно неудачных. Долгие годы почти ежемесячной поставки сатирического материала и не могли привести ни к чему другому нашего талантливого автора. Как бы ни была велика известная сила человека, она неизбежно умалывается от долгих злоупотреблений ею. Таким образом, мы даже чрезвычайно рады новым рассказам г. Щедрина. Мы, прежде всего, смотрим на них именно как на отдых автора и надеемся, что они дадут ему возможность еще раз сказать новое и сильное слово своей сатиры. К тому же рассказы эти далеко не без достоинств. В них вы не найдете ничего особенно оригинального и свежего, но невольно заметите присутствие таланта, а некоторые места их даже весьма хороши, как чисто-художественные сцены. Мы уже говорили в свое время о первых эпизодах из истории семейства Головлевых. Мы видели Арину Петровну Головлеву полноправною хозяйкой-устроительницей, самодержавною помещицей и главою семейства, жестокою матерью, под немилосердною рукой которой трепетали и погибали

ее дети. Мы видели, как изменились ее обстоятельства, как сын ее, Порфирий Владимирович, по прозвищу Иудушка, сумел забрать все в руки, придавил ее волю и устроил весьма плачевное существование «милому другу маменьке». Иудушку — русского Тартюфа — автор обрисовал очень тщательно, и фигура его, несмотря даже на некоторую утрировку и карикатурность, производит цельное впечатление. Гаже и отвратительнее этого Иудушки трудно что-нибудь придумать. Крайняя бессердечность и алчность, отсутствие каких бы то ни было человеческих чувствований и при этом нахальный цинизм неудержимого пустословия, омерзительное, лживое святошество.

В новом очерке г. Щедрина, помещенном в майской книге «Отечественных записок», мы застаем Иудушку уже совершившим все свои подвиги: он уморил своих сыновей, уморил мать и остался один со своим стяжанием. Он еще не понимал своего одиночества; он был погружен в перечитывание бумаг покойной матери, учитывание всякого гроша. Он не знал, для чего он это делает и кто воспользуется плодами дел его. В это-то время приехала вступить во владение своим имуществом одна из его племянниц-сироток, воспитанных Ариной Петровной. Она с сестрою, несколько времени тому назад, покинули бабушку и сделались провинциальными актрисами. Аннинька является героиней нового рассказа и, по нашему мнению, очень удалась автору. <...>

Аннинька сразу объявила, что у дяди ужасная скука, а Иудушка, между тем, уже поглядывал масляными глазами на племянницу и намеревался задержать ее у себя на жительство. Пока же он советовал ей съездить на могилу к бабушке; но прежде ей, по его мнению, следовало выстоять обедню.

«Только знаешь что? — ты бы сначала очистилась! — Как это... очистилась? — Ну, все-таки... актриса... ты думаешь, бабушке это легко было? Так прежде, чем на могилку-то ехать, обеденку бы тебе отстоять, очиститься бы! Вот я завтра пораньше велю отслужить, а потом и с Богом! — Как ни нелепо было Иудушкино предложение, ко Аннинька все-таки на минуту смешалась. Но, вслед за тем, сдвинула сердито брови и резко сказала: — Нет, я так... я сейчас пойду!»

Предложение очиститься и чувство, вызванное в Анниньке этим предложением, было началом совсем новых ощущений, которые ей предстояло испытать на своем старом пепелище и которые до сих пор были очень далеки от нее. Автор художественно подметил и выразил это пробуждение сознания в «Прекрасной Елене». Она сначала очень холодно говорила о бабушке и о ее смерти, но на могиле расплакалась. Приезда ее не ожидали, и дом, в котором умерла бабушка, стоял

пустой и холодный. Все было в беспорядке и пыли. Аннинька села в бабушкино кресло и задумалась. Еще недавно она рвалась на волю из этой постылой деревни. Теперь же ей хотелось бы пожить тут. Здесь много воздуха, здесь привольно...

<...>

Аннинька недолго пробыла в доме и собралась ехать. Старик слуга говорил ей: «А мы было думали, что вы к нам вернетесь! с нами поживете». — «Нет уж... что! Все равно... живите!» — отвечала Аннинька, и слезы ее полились снова. И ничего, казалось, ей не жаль, и даже помянуть нечем, а все же лились слезы. Она опять заехала на могилу бабушки — и стало ей «всем существом» горько, не над бабушкой, а над самой собой. Скучная и тихая вернулась она к дяде Иудушке, который все оттягивал время устроить дела ее по вводу во владение, все уговаривал ее остаться у него и лез целоваться, объясняя свою нежность таким образом: «Отчего же и не поцеловаться! Не чужая ты мне, — племяннушка! Я, мой друг, по-родственному! Я для родных всегда готов! Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный, я, все-таки, всегда...». Разумеется, Иудушка был очень противен Анниньке; ей хотелось скорее вырваться отсюда и уехать; но в настоящую минуту она была занята другими мыслями. Толчок, данный ей посещением бабушкиной могилы и дома, возбудил в ней мучение, от которого она не могла отвязаться. Автор подробно следит за ее мыслями и чувствами. Уйдя из скучной и суровой бабушкиной обстановки, Аннинька попала в сравнительную роскошь, о которой теперь не могла без стыда вспомнить. Она вовсе не хотела того, что с ней случилось: ее желания были сначала весьма скромны, она мечтала о трудовой жизни, об искусстве и решительно не знала, «как сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила впрах мечты». Перерождение из институтки и деревенской барышни в «Прекрасную Елену» совершилось для нее незаметно. Она плыла по течению. Она оправдывала свое решение вступить на подмостки провинциальной сцены *святым искусством*. Но святое искусство привело ее в помойную яму. Она как-то закружилась и не замечала окружавшего ее безобразия. Она не замечала даже, что окружена только мужчинами и что между нею и «женщинами, имеющими *постоянное положение*», легла бездна. И вдруг приезд в Головлево отрезвил ее. Она сразу почувствовала себя «барышней». И в то же время действительность сказала ей, что прежняя «барышня» умерла, что осталась только актриса жалкого провинциального театра и что «положение русской актрисы очень недалеко отстоит от положения публичной женщины». Она жила до сих пор как во сне; она не со-

знавала позора пения скабранных шапсонеток с непристойными телодвижениями.

Она старалась только о том, чтобы все у нее выходило «мило», чтобы ею восхищались, аплодировали ей. Теперь же, почувствовав себя «барышней», она почувствовала весь позор своей жизни, ей стало невыносимо мерзко. Как будто с нее сняли все покровы до последнего и всенародно вывели ее обнаженною; как будто эти подлые дыхания разом охватили ее; как будто она на всем своем теле почувствовала прикосновение потных рук, слюнявых губ и блуждание этих мутных, исполненных плотоядной животности глаз, которые бессмысленно скользят по кривой линии ее обнаженного тела, словно требуют от него ответа: что такое «la chose»?

Мы привели эти грубо-бесцеремонные строки и спешим оговориться, припоминая подобную же бесцеремонность выражений и *цинизм* слога писателей новейшей французской школы, неодобрять которых нам часто приходится.

Дело в том, что в данном случае мы не можем иметь ничего против *цинизма* слога в мыслях Анниньки. Здесь положение художника таково, что он *должен* употребить грубые краски, и обвинять его за это было бы бессмысленно. Описание ужаса, охватившего несчастную девушку, должно быть выражено в соответственной форме, воспоминания отвратительны и грязны — и таковыми должен представить их автор. Грязное описание здесь не цель, оно вполне законно, а потому и не вредит художественности; мы восстаем только против *ненужной* грязи, хотя бы ее ненужность и была скрыта искусственным образом. И г. Щедрин иной раз любит *ненужную* грязь; но, по поводу настоящего рассказа, ему нельзя сделать этого упрека. Здесь у него мотив, действительно, серьезный и заслуживающий внимания... Но, несмотря на весь ужас своих воспоминаний, Аннинька даже и не подумала остаться в деревне. «Ей был дан отпуск, и она уже заранее распределила все время его и назначила день отъезда из Головлева. Для людей слабохарактерных те внешние грани, которые обставляют жизнь, значительно облегчают бремя ее. В затруднительных случаях слабые люди инстинктивно жмутся к этим граням и находят в них для себя оправдание». Так именно поступила и Аннинька: она решилась как можно скорее уехать из Головлева, к тому же здесь все было так мрачно, так пахло отчуждением и выморочностью. Но, прежде чем уехать, ей предстояло до конца испить чашу, подготовленную ее позором. Дядя Иудушка не ограничился предложением «очиститься». Он начинал все сквернее и сквернее на нее посматривать и убедительнее упрашивать ее остаться с ним

жить. Наконец, между ними произошла такая сцена. Видя упорство племянницы, не желавшей оставаться, он уж и не знал, что придумать.

«— А бабенка (покойница) что скажет? Скажет: “Вот так внучка! Приехала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотела!” Порфирий Владимирович остановился и замолчал. Некоторое время он семеня ногами на одном месте и то взглядывал на Анниньку, то опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то высказать. “Постой-ка, я тебе что-то покажу!” — наконец, решился он и, вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его Анниньке: “Натко, прочти!” Аннинька прочла: “Сегодня я молился и просил Боженьку, чтоб Он мне оставил мою Анниньку. И Боженька мне сказал: «Возьми Анниньку за полненькую тальцу и прижми к своему сердцу»”. — “Так, что ли?” — спросил он, слегка побледнев. “Фу, дядя! какие гадости!” — отвечала она, растерянно смотря на него. Порфирий Владимирович побледнел еще больше и, произнеся сквозь зубы: “Видно, гусаров нам нужно!” — перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты».

В этой скверной сцене сказался весь Иудушка. Впрочем, он, пожалуй, сделал бы то же самое и так же взглянул бы на нее, если бы она даже была чистою девушкой. Но все остальные, все, кого ни встречала Аннинька, смотрели на нее, как на потерянную, и бредили ее рану. Заговорит она с экономкой дяди, — та ее спрашивает: «А правда ли, Порфирий Владимирович мне сказывали: будто бы актрис чужие мужчины все за талию держат?» Беседует ли она со священником и его женою — то же самое. Поп и попадьа были люди бедные, забытые обстоятельствами; но и они, очевидно, относились к ней не просто, а с сожалением, как к существу погибшему. Попадья никак не могла утерпеть и спросила Анниньку:

«Правда ли, что с актрисами обращаются, словно бы они — настоящие женщины?» <...>

Дальше Аннинька уже не могла выдержать: она простилась; но обиды еще не кончились. Старик Федулоч, уговаривая ее остаться в бабушкином наследственном домике, говорил ей: «Что хорошего по ярмаркам с торбаном ездить! Пьяниц утешать! Чай, вы — барышня!» <...>

Здесь автор покамест оканчивает свой рассказ. Он может с Анинькой кончить, как ему угодно. Разумеется, он не станет спасать ее и наставлять на путь истинный, не заставит ее бороться там, где она, по своему характеру, бороться не в силах. Аннинька в рассказе г. Щедрина является совершенно живою фигурою: художественный

талант автора не навешал на нее ни особенных добродетелей, ни особенных пороков. Мы весьма довольны, находя в новых рассказах г. Щедрина неподдельную художественность. Он долгое время заставлял нас смеяться над людскою пошлостью; затем смех этот начинал ослабевать все больше и больше... В резко определенные рамки щедринской сатиры начало пробиваться, с одной стороны, много лишнего, с другой — много однообразия в повторении одних и тех же мотивов. Часто встречался ненужный, насильственно вызываемый цинизм; действительная оригинальность переходила в оригинальничанье. Чувствовалось полное отсутствие свежести, чувствовалась сильная усталость. И со всем этим, автору недоставало того доброго и грустного чувства, которое неизбежно должно проникать в художника при столкновениях с некоторыми сторонами современной жизни. Именно это-то доброе, грустное чувство мы заметили в новом его рассказе. Оно-то и придало художественное значение фигуре Анниньки. Мы спешим отметить такое проявление новых сторон в таланте нашего сатирика.

